

PAUL BOWLES

*An Autobiography
Without Stopping*



ПОЛ БОУЛЗ
БЕЗ ОСТАНОВКИ
Автобиография

Пол Боулз

Без остановки. Автобиография

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69189817

Без остановки. Автобиография: Книгократия; Москва; 2023

ISBN 978-5-6048540-5-1

Аннотация

Автобиография Пола Боулза (1910-1999), композитора, путешественника и писателя, хорошо известного в последние десятилетия русскому читателю, охватывает период с его раннего детства до начала 1970-х годов. Внимательный читатель произведений Пола Боулза в этой книге узнает знакомые сюжеты и увидит прототипы героев, которых встречал в его романах и рассказах, ранее выпущенных на русском языке.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Глава I	6
Глава II	32
Глава III	70
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Пол Боулз
Без остановки
Автобиография

Paul Bowles
An Autobiography
Without Stopping

* * *

© Paul Bowles 1972, All rights reserved
© Алексей Андреев, перевод, 2022
© ООО «Книгократия», 2023

* * *



Глава I



Моя мать Рена Винневиссер, в Беллоуз-Фоллз, Вермонт,
1892 г. (П. Боулз)

Стоя на коленях на стуле и ухватившись за его спинку выкрашенную золотой краской, я смотрел на предметы, расставленные на полке застеклённого шкафчика. Слева от золотых часов стояла старая оловянная кружка. Поглядев на неё некоторое время, я произнёс: «кружка». Она была похожа на мою серебряную кружку, из которой я пил молоко. «Кружка», – снова сказал я. Слово прозвучало так странно, что я принялся повторять его до тех пор, пока мне начало казаться, что оно теряет свой смысл. Это меня удивило и породило в душе лёгкое ощущение беспокойства. Как «кружка» может означать что-то ещё, кроме кружки?

В комнате было тихо. В той части дома я был совсем один. Неожиданно золотые часы четыре раза пробили время. Как только стих последний удар, я понял, что происходит что-то важное. Мне было четыре года, часы пробили четыре раза, а слово «кружка» означало кружку. Значит, я – это я, и я находился там в тот самый момент и никакой другой. Утверждать это вполне определённо было для меня новым и отрадным опытом.

Дом был дяди Эдварда, в Эксетере рядом с унитариянской церковью, где тот служил священником. Для меня над этими краями уже веял ореол сказочности, так как мама и дядя Фред учились здесь в средней школе: он – в Филлипс Эксетер, а она – в женской семинарии Робинсона. Занятно, что мама каждый раз смеялась, упоминая название сво-

ей школы, но про академию Филлипс неизменно говорила с чувством близким к благоговению. «Я тебя туда уже записала», – говорила она, от чего мне становилось немного не по себе, когда я начинал об этом задумываться.

Мама лежала в больнице, расположенной сразу за чертой города. Когда папа вернулся из Нью-Йорка, он отвёл меня в сторону и ещё грубее, чем обычно, заявил: «Твоя мама – очень нездоровая женщина, и всё это из-за тебя, молодой человек. Ты об этом помни».

Меня удивили и расстроили его слова. Какое я мог иметь отношение к болезни матери? Тем не менее уже тогда я воспринимал его всегдашние грубые нападки как некую данность. Само присутствие отца означало страдание, это была неизменная часть существования.

Вместе с тётей Джен я поехал навестить мать. Я привёз ей два печенья, которые мне разрешили самому слепить и испечь. Они были невкусными и некрасивыми, но она рассмеялась и съела их. Позднее, когда мы вернулись в Нью-Йорк, я спросил её, почему виноват в том, что она болела.

«Дорогой мой, папа совсем не это имел в виду. Понимаешь, ты с большим трудом появился на свет. Большинство младенцев выходит в этот мир правильно, головкой вперёд, но ты почему-то выходил перевёрнутым. И весил ты дай Бог 4 килограмма».

Мало что было понятно, но чувство вины стало не таким острым.

На следующий год я пережил что-то подобное случаю с кружкой, но на сей раз чувствовал его приближение заранее и страстно наслаждался ощущением полной осознанности момента. Это произошло на ферме Счастливой ложбины. Я сидел на качелях под гигантскими клёнами, купаясь в запахах и звуках летнего дня в Массачусетсе. Я откинулся назад и замер, почти касаясь головой травы. Часы в доме пробили четыре, и всё началось снова. Я – это я, и я там, где сейчас нахожусь. Качели слегка покачивались, а я смотрел в зелёную глубину кленовой листвы и невероятно синее небо.

Ферма Счастливой ложбины общей площадью 66 гектаров располагалась на склонах лесистых холмов. В центре был луг площадью около квадратного километра, по которому бежал холодный и глубокий ручей. Звук текущей в илистой траве воды слышался задолго до того, как можно было увидеть сам ручей. Белый, с зелёными жалюзи, квадратный двухэтажный домик с дощатыми стенами был построен в конце XVIII века. Частично затенённый четырьмя гигантскими клёнами, он стоял на возвышении в стороне от дороги. В северной части дома был флигель, в котором находились кухня, кладовки и комната для прислуги. За флигелем располагалась самая интересная часть фермы – несколько темных деревянных сараев, протянувшихся до будки-кладовки над родником. Там пахло хранившимся внутри свежесрубленным деревом, заплесневевшей мешковиной, яблоками, мокрой землёй, а также другими таинственными запахами.

ми застывших во времени вещей. Каждый раз, когда взрослые замечали, что я исследую тёмные сараи, мне неизменно говорили пойти погулять на улицу, где, стоя на солнце, я делал вид, что чем-то занят, прислушивался к доносящимся из дома голосам и, когда про меня забывали, снова возвращался в сарай.

На ферме Счастливой ложбины жили бабушка и дедушка Винневиссер с двумя сыновьями. Дедушка купил дом, чтобы жить в нём на пенсии после того, как упал с лошади, и ему стало сложно ходить. До того несчастного случая он владел единственным «богатым» сельпо в местечке Беллоуз-Фоллз в штате Вермонт.

Дедушку звали Август. Он был человеком угрюмым и жестоким, подверженным резким переменам настроения, и когда они случались, весь дом сотрясался от его громогласных проклятий на немецком и английском. Он не терпел ничего организованно управляемого, как то: религию, общество и правительство. Дедушка считал, что любая группа, утверждающая, что у неё есть общая цель или система верований, существует только, чтобы запудривать мозги и эксплуатировать своих членов. Единственным исключением из этого правила были масоны, которых дедушка уважал, возможно, потому что сам им был. Помню, как однажды он отвлёк от игры меня и трёх моих маленьких кузенов и кузин, чтобы спросить нас о том, существует ли Бог. У меня было впечатление, что Бога придумали взрослые, чтобы легче управлять

детьми, поэтому я дипломатично воздержался от ответа. Но мои маленькие кузины и кузены, которым мамы втемяшили в голову представление, что Бог является реальным, ответили утвердительно. Тут дедушка вскипел: «Ха! Бога нет. Всё это полная чепуха. Не верьте».

Он разглагольствовал таким манером, пока не пришла тётя Улла. С неуклюжестью, свойственной взрослым, которые постоянно недооценивают сообразительность маленьких детей, она стала укорять дедушку: «Отец! Умоляю, только не перед детьми!»

«Он прав, – подумал я, всё больше и больше убеждаясь в собственной правоте. – Всё это действительно ложь. Они сами не верят. Так почему же мы должны верить?»

Неважно, был дедушка прав или нет, но он внушал страх. Его нос был изуродован после совершенно необъяснимой операции, которую в юности сделал ему его отец после того, как дедушка разбил себе переносицу молотком. Но страшна была не странная форма носа, изменившего цвет, а то, что дедушка собственноручно проделал точно такую же операцию на двух своих сыновьях, у которых были точно такие же сломанные носы. Меня это напрягало. Особенно потому, что мама часто по двадцать минут или целых полчаса массировала мне нос большим и указательным пальцами. Она говорила, что молодые кости и хрящи очень податливы и надо внимательно следить за тем, какую форму они принимают. Не делясь ни с кем своими страхами, я думал, не стану ли я

следующей жертвой молотка.

Всю свою жизнь дедушка интересовался ценами на потребительские товары. Он знал не только точную оптовую и розничную цены практически всех товаров, которые можно было себе представить, но и то, как эти цены менялись в прошлом. Так как всю свою взрослую жизнь он изучал прайс-листы, то продолжал этим заниматься и после того, как продал магазин.

Когда очень редко его навещала сестра Фэнни, дедушка был на седьмом небе от счастья. Они начинали говорить на родном языке, который больше никто не понимал, пили пиво, ели ржаной хлеб с лимбургером¹ и луком и болтали чуть ли не до зари. Тогда дедушка становился словно другим человеком. Таинственный язык и непривычная для меня жестикуляция превращали его в вежливого и изысканного незнакомца.

У него было три дочери, имена которым он дал сам: Эмма, Рена и Улла. (Однажды дедушка съязвил, что они вышли замуж за мужиков с бабскими именами: Ги! Клод! Джеральд!) Впрочем, среди зятьёв у него был любимый – мой дядя Джеральд Дансер, который был умницей и (как можно было догадаться) сыном владельца универмага. Ни мой отец, ни дя-

¹ Мягкий сыр из коровьего молока, названный в честь герцогства Лимбург (исторической области, ныне находящейся на землях между бельгийским Льежем и нидерландским Маастрихтом), распространённый также в Германии. Фамилия Августа, Винневиссер – немецкого происхождения. (Здесь и далее примечания редактора перевода, если не указано иное.)

дя Ги не интересовались бизнесом, им был совершенно безразличен дар бабушки обращаться с цифрами.

Более того, мой отец считал деда человеком немного не в себе. Он говорил о нём, презрительно пожимая плечами, и организовал свою жизнь так, что практически никогда с тестем не встречался.

Бабушка представляла собой главный противовес потенциальному эмоциональному насилию, которое часто могло возникнуть в её семье. Я смотрел на неё и думал: «Она наверняка была прекрасной матерью». В её присутствии мир казался вполне сносным. В отличие от остальных членов её семьи, перед лицом сложностей бабушка не принимала циничную позу и не впадала в отчаяние. У меня складывалось ощущение, что моя родня втайне мечтала, чтобы произошла какая-нибудь катастрофа, и постоянно искала знаки её приближения. Бабушка была личностью сильной, спокойной и светлой. У неё не было каких-либо религиозных убеждений, но богохульства дедушки ей были не по душе. «Чего ты кричишь? – спрашивала она каждый раз, когда дедушка заводил антихристианскую шарманку. – Почему ты не можешь сказать всё это спокойно?»

Даже звук бабушкиного голоса меня успокаивал. Когда я слушал её, мне казалось, что не может произойти ничего плохого. И всё же недовольство тиранией дедушки привело к тому, что у неё часто случались приступы сильной головной боли. Когда начинался приступ, весь дом оказывался словно

парализованным. Если в это время бабушку навещали её дочери, то все они садились вокруг кровати и её жалели. Они говорили, что дедушка поступил плохо, заперев её на ферме. Однако сама бабушка не сетовала на свою судьбу. Жизнь на ферме не была пыткой, просто на ферме надо много работать, но она к этому была привычна. Точно так же, как и большинство жителей Новой Англии своего поколения, бабушка любила «природу» и была рада находиться на её лоне. Когда много лет спустя она умерла, её дети шептались между собой о том, что жизнь на ферме убила их мать.

Мой отец мечтал стать концертным скрипачом, но его родители сочли такой выбор профессии крайне непрактичным и запретили, после чего с отцом случился нервный срыв. Его старший брат тогда учился на стоматолога, что, вне всякого сомнения, повлияло на решение отца, после того как он успокоился и смирился с волей родителей, последовать его примеру. В возрасте тридцати лет отец женился, а я родился через два года после свадьбы и был единственным ребёнком в семье. До того, как мне исполнилось пять лет, отец активно создавал и зарабатывал круг пациентов, после чего, как мне кажется, этих пациентов у него всегда было с избытком.

Зимы моих ранних лет покрыты дымкой, во многом скрывающей детские воспоминания. Мы жили в старом доме классической планировки из коричневого, покрашенного серой краской камня, с высокими и неприступными ступеньками, ведущими от тротуара к входной двери. На первом

этаже располагалась лаборатория отца. Помню, что коридор был тёмным и неприветливым, в воздухе стоял запах газовых горелок и раскалённого металла. Вход в лабораторию мне был запрещён, а двери комнаты были всегда закрыты. Длинный лестничный пролёт вёл в стоматологический кабинет и приёмную. Чтобы добраться до жилого помещения – четырёхкомнатной квартиры на верхнем этаже, надо было подняться ещё по одному лестничному пролёту.

Большую часть дня я играл в доме, и лишь иногда на час меня выпускали на улицу. Поросший травой участок был окружён настолько высоким деревянным забором, что я не видел ничего, что находилось за ним. На стене дома было девять окон, смотревших на меня словно девять глаз, и из каждого из них в любой момент я мог услышать недовольные окрики. Если я стоял и смотрел на неизменно стоящие на подоконнике часы, чтобы узнать, когда закончится отведённый для гуляния час, то слышал постукивание по стеклу окна на третьем этаже: это мама жестами предлагала мне побегать и поиграть. Но когда начинал носиться по участку, то из окна на втором этаже раздавался папин голос: «Уймись, юноша!» Или секретарша отца махала мне рукой с криком: «Твой папа просит, чтобы ты не шумел!»

В том доме у меня был сундук с игрушками. Папа дал приказ – чтобы все игрушки должны были быть собраны в сундук к шести часам, когда он возвращался назад в квартиру. Он говорил, что всё то, что я не успею убрать в сундук, будет

конфисковано, и эти вещи я уже никогда не увижу. Я начал собирать игрушки в пять часов, к 17.45 всё было собрано, и крышка сундука была закрыта. После этого я мог до ужина почитать, если на то было желание, потому что поставить книгу на полку – дело нескольких секунд. Из всех игр мне больше всего нравилось писать и рисовать, но этим я мог заняться только на следующий день. Мама всегда утверждала, что я научился читать сам, что вполне возможно и соответствовало действительности, так как я не помню времени, когда при взгляде на напечатанный текст у меня в голове не возникало соответствующее ему прочтение. По сей день у меня сохранилась небольшая тетрадка, в которой карандашом записаны истории о выдуманных мной животных. В конце тетрадки аккуратно выведена дата, 1915 год – значит, мне было четыре года, когда я её написал. Помню, однажды нас навещала бабушка Боулз, и я услышал, как она сказала маме, словно меня рядом и не было, что не надо потакать поспешному созреванию. Бабушка пророчила катастрофу, если мне не обеспечат контакт с другими детьми, для того чтобы я «рос во всех направлениях». Я не понял, что она имеет в виду, но тут же про себя решил, что другие направления для меня неприемлемы. «Я тебя предупреждаю, Рена, ты об этом пожалеешь», – произнесла бабушка, я посмотрел на неё и подумал, что она пытается влезть не в своё дело.

Среди прочего в сундуке была колода из нескольких десятков карт, на каждой из которых был изображён персонаж,

подобно которому можно было встретить в больших американских городах в 1890-х гг. Эта игра должно быть называлась «Кто ты будешь в обществе»: если ты вытянул священника или доктора, то двигался на три клетки вперёд, если адвоката или банкира – на две, если парикмахера – на одну, а если попадалась карта с изображением убийцы или того, кто бьёт свою жену, то надо было идти на три клетки назад. Всё это казалось вполне логичным, однако в колоде были карты, которые не давали ходов и не заставляли идти назад, отчего они казались мне лишними и подозрительными. Зачем они вообще в колоде? Изображённые на них персонажи не выглядели нейтрально, напротив, они казались злыми (как, собственно говоря, и все остальные, даже положительные персонажи казались ненамного лучше отрицательных). Среди этих подозрительных типажей были старейшина, аптекарь – угрожающего вида долговязый субъект в очках и чёрном пальто, а также «волевая и решительная женщина». Я рассматривал эту нахмурившую брови особу, изображённую идущей по улице под тенью деревьев. Мне казалась, что именно она является самой страшной и угрожающей из всех персонажей.

«Мама, а кто такая „волевая и решительная женщина“?»

«Ну, например, твою бабушку Боулз можно назвать волевой и решительной женщиной».

«И почему это плохо?»

«Плохо? Это совсем не плохо. Это очень хорошо».

«А почему тогда она не даёт никаких дополнительных ходов? И почему она выглядит так ужасно? Ты посмотри на неё!»

Каждый раз, когда мама вытягивала эту карту, я радовался.

По-видимому, для того, чтобы отличать дедушку и бабушку от родителей отца, меня приучили называть их «папин-папа» и «папина-мама». Как будто их дома и без этого навечно не разделял разный дух, сложившийся в каждой из семей! Жилой дом на ферме был забит людьми под завязку, семья не оставила никакого пустого места. Однако когда ты входил в дом Боулзов, то складывалось ощущение того, что ты вошёл в лес. В тишине и полумраке папин-папа и папина-мама сидели каждый в своей комнате и читали книги: он – наверху, а она – в своём кабинете внизу. Кухня была расположена в отдельной части дома, и я приходил туда, чтобы поболтать со старой Мэри, которая уже много лет жила в этом доме, и её племянницей Люси. Они всегда внимательно меня выслушивали и никогда не делали замечаний, как бы мне исправиться. Но рано или поздно меня просили подойти к папиной-маме, которая обычно сидела у камина, снимала пенсне и улыбалась мне – и доброжелательно и неодобрительно. Я знал, что она меня любит, я также прекрасно понимал, что она осуждала меня не за то, какой я есть, а за то, что во мне были гены моей матери. Такой подход казался вполне естественным: мать не была из семьи бабушки, и именно по-

этому к ней относились с элементом враждебности. Что мне действительно не нравилось, так это то, что мама боялась папиной-мамы, и зачастую ей в присутствии свекрови становилось так дурно, что после этого приходилось ложиться в кровать. Но всё это казалось исключительно природным феноменом, как смена времён года, и меня совершенно не волновало. Я осознавал, что мир взрослых являлся миром недоверия и интриг, и на правах ребёнка был очень доволен тем, что не был обязан принимать в нём какого-либо участия.

Непосредственно перед началом войны в 1914 г. папина-мама ездила в Париж и привезла оттуда много впечатляющих платьев. Помню, как она с удовольствием говорила навещавшим её подругам об «изысканном качестве выделки тканей». Когда же я спросил свою мать, почему бы ей не поехать в Париж за одеждой, та только рассмеялась. Но я хотел услышать ответ и настаивал, и она сказала: «Помилуй, да мне не нужны парижские наряды! И кроме всего прочего, пройдёт ещё много времени до того, как твой папа сможет отправить меня в Париж. Папиной-маме очень повезло, потому что она успела побывать в Париже, когда была возможность».

Папина-мама и папин-папа мало отличались от других людей, проживавших на Вест-Черч стрит в Эльмире (разве что они не были религиозными). Папин-папа говорил, что религия — это очень хорошая вещь для всех тех, кому она нужна. Для папиной-мамы религиозность была вопросом ис-

ключительно личным, она читала тексты Теософского общества. Вне всякого сомнения, на неё оказали влияние её сестра Мэри и брат Чарльз, которые увлекались тем, что сами называли оккультизмом.

Тётя Мэри жила в Уоткинс-Глен в большом доме, известном под названием Золотой зал, а дядя Чарльз владел большим участком земли в местечке Гленора, расположенном в тринадцати километрах от озера Сенека. Так что все они виделись часто и обсуждали прочитанное и обдуманное. Дядя Чарльз был фанатом йоги и убедил папиного-папу, что правильное дыхание даёт возможность вдыхать вместе с воздухом *прану*. Что было удивительно, потому что в целом папин-папа не был склонен к эзотерике, но тут же решил, что мне необходима прана (он даже утверждал, что эта самая прана может заменить пищу, когда человек голоден). Мне пришлось научиться дышать, закрывая, а потом открывая ноздри подушечками пальцев. Такое занятие казалось мне надуманным и совершенно абсурдным, как, впрочем, и все другие вещи, придуманные в семье, чтобы сделать мою жизнь максимально неприятной.

Уже в самом раннем возрасте я понял, что мне всегда будут запрещать делать то, что нравится, и заставлять заниматься тем, что не по душе. В семье Боулз считали, что удовольствие оказывает разрушительное воздействие, а вот неприятные занятия способствовали развитию характера. Поэтому я стал мастером по части обмана, по крайней мере,

в умении сделать требуемое выражение лица. Я не был в состоянии заставить себя врать, так как для меня слово и его буквальное значение имели высшую ценность, но научился изображать энтузиазм по отношению к занятиям, которыми мне не нравилось заниматься, и, что гораздо важнее, скрывать выражение радости от занятий, доставляющих мне удовольствие. Как вы сами понимаете, такая политика не всегда приводила к желаемым результатам, но часто помогала переключать внимание взрослых с меня на что-то другое, что само по себе было большой победой. Так как внимание означало «дисциплина», каждый взрослый пробовал на мне свою излюбленную систему и смотрел на результаты, которые она давала. Однажды папина-мама прислала ко мне какую-то женщину, которая два часа со мной разговаривала. Она была вполне приятной дамой, я чувствовал себя с ней совершенно раскованным и общался с ней настолько свободно, насколько может шестилетний ребёнок. В конце общения эта особа повернулась к папиной-маме и, не обращая внимания на то, что я находился в той же комнате, сказала: «У него очень пожилая душа, пожалуй, даже слишком пожилая. Так что надо подождать и посмотреть, что из этого выйдет». Кажется, что члены семьи Боулз были готовы постоянно обсуждать мои недостатки. «*Неестественно*, – так чаще всего начиналось выражение их недовольства, – шестилетнему ребёнку так много времени проводить за чтением». «*Неестественно*, когда ребёнок хочет быть один». Однажды я даже

слышал, как папина-мама сделала матери следующее замечание: «Неестественно, когда у ребёнка такие толстые губы». Это, кстати, ранило меня сильнее, чем её обычные придирки, потому что у меня такой же рот, как у матери. Если я вышел уродом, то и моя мама тоже, так почему же папина-мама не сказала это матери напрямую, а использовала меня в качестве оружия?

Папина-мама скривилась в иронической улыбке. Такой улыбкой она давала понять, что принимала всё то, что ей говорили, с оговорками и условиями, суть которых она не раскрывала. Мама однажды сказала: «Твоя бабушка Боулз – самая недоверчивая женщина, которую я видела в своей жизни. И твой папа пошёл в неё. Ни в коем случае не будь такими, как они. Ужасно! Отравляет всю жизнь».

Из всех четырёх бабушек и дедушек больше всего меня интересовал папин-папа. В нём было что-то загадочное. У него были пышные седые усы и очки на переносице, весь день он сидел в своём кабинете и читал. Иногда доставал перочинный нож и вырезал статью из газеты или журнала. Вырезки, большая часть которых была о жизни «америндов» – так он называл коренных жителей Западного полушария, хранились у него в специальном шкафу для документов. Вдоль стен кабинета папиного-папы стояли высившиеся до потолка полки с книгами, добрая треть из которых была на французском языке. В один прекрасный момент папин-папа решил выучить французский, чтобы в оригинале читать Гю-

го, Дюма и Бальзака. Позднее, когда ему было уже за семьдесят, он принялся изучать испанский. Папин-папа продолжал изучать этот язык и читать на нём до конца жизни. Он был фанатичным кошатником, и на его большом рабочем столе стояли фотографии не людей, а знакомых кошек.

Я входил в его комнату, он дружески приветствовал меня по-французски и жестом предлагал сесть за стол, где была разложена целая коллекция картинок и предметов, которые папин-папа вынимал из выдвижных ящиков и комодов, чтобы показать мне, когда я в следующий раз загляну в его кабинет.

Папин-папа участвовал в гражданской войне, которую называл только «войной» или «войной с бунтовщиками». Он гордился тем, что побывал во всех штатах северян. «На протяжении нескольких лет я никогда не спал две ночи подряд в одном и том же городе», – говорил он мне. «Какая чудесная жизнь», – думал я тогда, и гораздо позднее во время уже своих собственных странствий стал собирать таинственные предметы индейцев и рассказы из разных частей страны.

Мы никогда не задерживались в Эльмире надолго. Через несколько дней мы уезжали в Гленору, расположенную на озере Сенека, где у папиного-папы было три участка земли с готовыми для проживания домами. Раньше я никогда не задумывался, почему он купил три отдельных участка с домами в одном и том же районе, но потом решил, что изначально папин-папа приобрёл собственность для двух сыновей и

самого себя. В конце Первой мировой войны дядя Ширли уехал с семьёй в Лос-Анджелес, после чего папин-папа продал участок под названием Рэд Раф / *Red Rough*, оставив себе Хижину Подковы / *Horseshoe Cabin* и Эллинг / *Boat House*.

Сенека – это узкое и вытянутое ледниковое озеро, на южном берегу которого высятся сланцевые скалы. Дом на участке под названием Эллинг был трёхуровневый: на цоколе стояли лодки, на среднем располагалась кухня и комнаты прислуги, и на самом верху были жилые помещения с огромным количеством ковров и одеял, изготовленных индейцами племени *навахо*. На поперечных балках висели китайские фонарики. Западная стена дома на всех этажах осталась невыстроенной, и представляла собой сланцевую скалу, выпиравшую острыми гранями в комнаты. Поднявшись с третьего этажа по двум лестничным пролётам, ты оказывался на участке земли, после которого начинался лес. Это был тёмный хвойный лес без подлеска, потому что местные сосны веками роняли иголки, толстым слоем устилавшие всё вокруг. Всего за одну ночь из-под земли могли появиться очень странные вещи: дедушкин табак, кирказон, россыпи ярко-оранжевых грибов, уйма пятнистых поганок и, конечно, ядовитые красные мухоморы *Amanita*, отличать которые меня научили в раннем возрасте. Я находил мухоморы и смотрел на них с ужасом и восхищением. У моих ног росла сама смерть, ждущая того, чтобы к ней кто-нибудь прикоснулся.

Ночью в лесу бегали скунсы и летали совы, а нескончаемое стрекотание кузнечиков было таким громким, что почти заглушало звуки бьющихся о скалы волн. Среди ночи, когда угли в камине медленно догорали и умирали, было приятно проснуться и услышать эту музыку.

Под домом стояли две лодки: большая открытая моторная и катер с каютой на восемь человек. Катер назывался *Aloha*, дядя Чарльз купил его в Нью-Йорке и приплыл по реке Гудзон через канал Эри в местечко Женева, расположенное на берегу в узком основании озера. На катере был установлен смывной туалет, и имелся камбуз с раковиной и плитой, значит, можно было готовить полноценную еду, а не питаться холодными бутербродами, как на пикнике. Будучи истинными жителями Новой Англии, члены семьи считали, что катер надо использовать только тогда, когда принимали гостей, поэтому в обычные дни на пикники и ради удовольствия плавали только на открытой моторной лодке. Папин-папа никогда не ездил на пикники. Он называл их «кайфом под напрягой» и спокойно оставался в Лодочном доме, читая и обедая в полном одиночестве. На пляже рядом с сараем для хранения лодок под брезентом лежали две вёсельные лодки и байдарка. Спустя некоторое время мне разрешили одному плавать на лодке-плоскодонке с вёслами, а потом и на байдарке.

Одним из моих увлечений было выдумывание списков названий мест – станций на воображаемой железной дороге, план и расписание движение поездов которой я нарисовал. В

Гленоре я решил довести эту фантазию до некоторой степени реальности: я написал названия на небольших обрезках бумаги, которые разложил, придавив кусками сланца, в тех местах вдоль тропинок в лесу, которые казались мне подходящими. Как я и ожидал, папа увидел эти записки и потребовал, чтобы я немедленно пошёл и собрал их. Папин-папа предложил, что я могу собрать записки на следующий день. Поглаживая с довольным видом усы, он добавил, что я назвал берег ручейка (который вот уже несколько недель пересох из-за засухи, которую все активно обсуждали) «Реконет».

Отец рассмеялся и, повернувшись ко мне, сказал: «Значит ты назвал ручеёк „Реконет“? Неплохо».

«А что это значит?» – спросила мама.

«Река, которой нет», – объяснил папа.

Это было их собственное, неприемлемое и глупое объяснение.

«Это значит что-то совсем другое», – возразил я.

На папином лице появилось недовольное выражение.

«Что-то другое? Так что же значит это слово?»

Я опустил голову. Мне казалось, что я не в состоянии объяснить, что слово Реконет – написанное наоборот название предыдущей станции.

«Вы не поймёте», – сказал я.

«Ничего себе! Вы только послушайте этого мелкого нахала! – рассержено воскликнул папа. – Давай-ка разберёмся!

Малой говорит, что слово не это значит. Я таки хочу знать, *что*».

Он начал меня трясти, я ещё ниже опустил голову.

«Ради Бога, Клод, оставь ребёнка в покое, – произнесла папина-мама. – Он не сделал ничего плохого».

«Да всё это ужимки! – отрезал папа. – Просто хочет привлечь к себе внимание». Он продолжал меня трясти, и я подумал, что попал в ужасно глупую ситуацию. «Ну и что значит слово?» – не унимался папа.

Я качал головой, отнекиваясь. Мне хотелось ответить: «Я никогда вам не скажу», но, немного помедлив, сказал: «Ничего не значит».

На лице отца появилось выражение отвращения, и он отпустил меня, думая, что доказал то, что хотел доказать. Вскоре после этого я побежал в лес и собрал обрезки бумаги с названиями станций, начиная с конца мостика через ручей Реконет и листка у гнилого пня с названием города О'Вирнингтон. Я должен был уничтожить листки, чтобы отец никогда не узнал значения слова Реконет. Я отнёс листки в небольшую пещеру на берегу и сжёг их, растёр пепел на мокром сланце и положил на это место несколько камней.

Когда я был совсем маленьким, каждое лето в Гленоре жили Макс Истмен со своей сестрой Кристал. Мама относилась к Максусу с большим пиететом. «Красивый как принц, и язык у него острый как бритва», – говорила она о нём. «И он это прекрасно знает», – мрачно добавлял папа. Потом более два-

дцати лет Истманы в Гленоре не появлялись. В 1937 г. Макс ненадолго приезжал в Гленору, и мы с ним увиделись. Тогда я поддерживал Сталина, и так как Макс был в то время ярким и активно спорившим с неприятелями троцкистом, наше идеологическое столкновение было неизбежным. Мы обсуждали Каутского, Каменева и Зиновьева. Я знал только то, что печатали в партийных публикациях. Папа слушал наш спор и, судя по выражению его лица, испытывал чувство, как будто наш разговор его развлекал, но к самому предмету спора он относился с презрением. Потом, вернувшись к Максу, папа сказал: «Послушаешь, что он болтает, так можно подумать, вырос в трущобах какого-нибудь промышленного города». Макс рассмеялся и ответил: «Нет, Клод, я бы так не подумал. Я бы подумал – сын дантиста с Лонг-Айленда».

У папиной мамы была подруга Дороти Болдуин, которая часто приезжала в Гленору. Дороти вместо духов пользовалась туалетной водой на основе эфирного масла лавровых листьев, утверждая, что этот запах ей нравится больше всего из тех, которые доступны на рынке бьюти-препаратов. «Её всегда из стороны в сторону водило, – заявила папина-мама, – А сейчас совсем опустилась и превратилась в самого настоящего радикала. Мне её, бедняжку, жалко. Она просто разочарована жизнью, вот и всё». Лично мне не казалось, что Дороти была разочарованной, напротив, она представлялась мне очень уверенной в себе особой. Однажды днём она спросила, не хочу ли я с ней прогуляться. Она мне нра-

вилась, и мы пошли гулять.

Мы прошли по дороге совсем недалеко, как вдруг Дороти свернула и пошла напролом через доходящую до пояса траву. «Тропинка будет чуть дальше», – сказал я, но она только усмехнулась. «Мы пойдём своим путём, – ответила она. – Тропками, которые нашли другие, ходить неприкольно». Периодически мы помогали друг другу выбраться из зарослей ежевики и двигались очень медленно. В какой-то момент я рванул вперёд, и на меня напали осы. Мы выбрались из зарослей той же дорогой, что и пришли. Вернувшись в Лодочный дом, и я обнаружил на теле одиннадцать укусов.

Когда Дороти уехала, все члены семьи, как один, принялись *выражать надежду*, что наше приключение меня кое-чему научило.

Потом они сформулировали урок, который я должен был получить: *безопасней оставаться на дорогах*, в буквальном и переносном смысле. Мораль возымела на меня воздействие, правда, совершенно противоположное тому, которое они подразумевали. Я знал, что мы с Дороти вполне осознавали, какие опасности таятся на пути, и её совершенно нельзя винить в том, что меня покусали осы. Подсознательно я понимал, что законы были придуманы, чтобы заставить человека делать то, что он не хочет. Кроме того, я понял, что для членов моей семьи высшим благом было запретить, именно потому что запрещается *самое возжеленное*. Их стремление навязать мне эту концепцию являлось лишь

одной из многочисленных стратегий, ставящих целью укрепить надо мной свою власть. У них было понимание того, каким я, по их мнению, должен был стать, и пока я буду таким, каким они хотели, я буду им подчинён. По крайней мере, так мне тогда казалось. Поэтому я в душе отвергал все их предложения, хотя делал вид, что с ними согласен.

У мамы была толстая книга в зелёном переплёте, в которую было вложено много вырезок и записей. У мамы было обыкновение редко выпускать из рук эту книгу, которая лежала рядом с ней даже тогда, когда она вязала крючком. Она заглядывала в книгу несколько раз в день. Книга называлась «Детская психология», и по совершенно непонятным мне причинам мама не хотела, чтобы заглядывал в неё я, поэтому хранилось это издание отдельно от всех остальных. Книгу написал доктор Рикер, человек, к мнениям которого папа испытывал глубочайшее презрение. Мама и папой часто страстно спорили о ценности и применении идей доктора, и придерживались диаметрально противоположных взглядов по поводу воспитания детей. Мама верила в бесконечное терпение, папа – в непреклонную твёрдость. Свой подход он называл здравым смыслом. «Совершенно очевидно, – утверждал он, – что ребёнок всегда будет держаться в рамках, которые ему поставят». Оба они совершенно игнорировали тот факт, что в пять лет я ни разу не говорил с другим ребёнком, и не видел, как дети играют. Я всё ещё представлял себе мир как место, населённое исключительно

взрослыми.

Глава II



Мой дедушка на ферме Счастливой ложбины, 1916 г. (П. Боулз)

В начале века некий доктор Флетчер заявил, что совершенно необходимо пережёвывать пищу сорок раз, вне зависимости от её твёрдости и состава. Доктор утверждал, что это необходимо для формирования *болюса* или пищевого комка, и предлагаемый им процесс пережёвывания пищи называли *флетчеризацией*. С той поры, как мне стукнуло пять лет, папа много раз со всей обстоятельностью объяснял мне преимущества такого тщательного пережёвывания пищи и заставлял меня есть по этой схеме. Я послушно жевал, но иногда всё же проглатывал пищу до того, как успевал пережевать её сорок раз.

«По Флетчеру, молодой человек!» – кричал тогда на меня папа и бил по лицу большой льняной салфеткой. Часто салфетка попадала мне в глаз, что было не просто больно, но и унижительно. «Жуй ещё. Жуй. Ты ещё не сделал свой *болюс*». К тому моменту я чувствовал себя настолько сбитым с толку, что не понимал, жую я или глотаю.

«Я что тебе говорил? Я же сказал тебе не глотать!»

«Случайно получилось», – оправдывался я. Иногда *болюс* всё ещё был у меня во рту, так как даже при непроизвольных глотательных спазмах я научился держать его под языком. В таких случаях я открывал рот, чтобы показать, что я не ослушался папу. Однако тот воспринимал моё поведение как «наглость» и изливал на меня поток новой брани.

Чтобы избежать этих мучений, я умолял маму, чтобы она разрешила мне есть на кухне раньше родителей, но она поз-

воляла мне это, только когда я был болен. Следовательно, болезнь стала большим соблазном, и половина моих ранних недугов были лишь предлогом, чтобы лежать в кровати и есть отдельно. Однажды ночью, когда у меня была высокая температура, папа, стоя у моей кровати и заложив руки в карманы, сказал матери: «Знаешь, мне кажется, что ему нравится болеть».

«Да, – подумал я, – действительно нравится. И самое лучшее в этой ситуации – это то, что я по-настоящему болен, и ты не можешь этого запретить». Я начал регулярно и по долгу болеть, со сладострастной дрожью предвкушая долгие промежутки времени, когда меня никто не будет беспокоить.

Летом 1916 г., когда мне было пять лет, родители переехали в дом на Де Грау-авеню. После окончания сезона в Гленоре они отвезли меня и оставили на ферме Счастливой ложбины. После переезда родителей дедушка приехал в Нью-Йорк и провёл неделю в их новом доме. По возвращении он с немалым воодушевлением описал мне наше новое жилище. «Вот увидишь, это очень хороший дом», – заверил он меня. Я ему охотно верил, но без особой радости ожидал в нём оказаться, потому что в нём будут папа с мамой.

Тем не менее дом произвёл на меня большое впечатление. Всё в нём сверкало новизной. Полы были такими блестящими и скользкими, что несколько раз упав, я начал делать вид, что открытые участки пола – это вода, и я должен перепрыгивать с одного ковра на другой, чтобы не провалиться.

Дом был расположен на «Холме», представлявшем собой поросшую лесом возвышенность в местечке под названием Ямайка на Лонг-Айленде. Недавно проложенные улицы заканчивались лесом. Поначалу природа была нетронутой, и по утрам мы слышали пение птиц. Потом к востоку от нас построили дом судьи Тумбли. Через два-три года вырубili деревья на противоположной стороне улицы. Мама решила, что ей больше не нравится жить в этом районе. Больше всего её не устраивала вырубка деревьев. Были и другие причины для недовольства: хотя наш дом и выглядел как строение, предназначенное для одной семьи, в нём проживало две. Вторую часть дома занимала семья молодого архитектора, спроектировавшего здание, и мама плохо ладила с его женой. Ещё одним недостатком было то, что дом был построен на возвышении, и чтобы дойти до него с улицы, надо было подняться на тридцать пять ступенек. Тем не менее вокруг дома летали малиновки и дрозды, рос кизил и даже фиалки. В этом доме жить было куда приятней, чем в тёмной квартире с пустым двором под окнами.

У нас была домработница – нордически спокойная финка по имени Ханна, носившая очки на цепочке, пристёгнутой к маленькой кнопке у воротника. Муж Ханны был штатным сотрудником Социалистической партии Америки, и она постепенно стала всё больше помогать ему, после чего перестала у нас работать, хотя в течение нескольких лет иногда приходила и оставалась со мной по вечерам, когда мои ро-

дители куда-нибудь уходили. Ханне помогала Анна, которая тоже была финкой, но недавно приехавшей в Америку. Мне она не особо нравилась, хотя, возможно, потому что я слышал о ней только критические отзывы. Анна была молодой и наглой, она пела во время работы и громко шумела вёдрами и шваброй.

Выражение «тётя Аделаида» было магической фразой, означавшей не только человека, но и место. Она была папиной сестрой и работала библиотекарем вместе с Анни Кэрролл Мур, директором детского отделения библиотеки на Пятой авеню. Тётя Аделаида общалась со мной как с обычным человеком, и не относилась ко мне как к дикому изловленному зверю, который, того и гляди, не пойми как взбрыкнёт. Такое отношение тешило и расслабляло. Тётя Аделаида жила в Гринвич-Виллидж в обставленной в японском стиле квартире, в которой витали замечательные запахи и стояли странные предметы. Иногда в этой квартире с ширмами, бумажными фонариками в мерцающем свете свечей появлялась мисс Мур. Её присутствие придавало мероприятию безошибочную атмосферу таинственного праздника, о котором не трубят везде, олицетворённого торжества – когда по твоему желанию мира вокруг будто не существует. В те годы посещения тёти Аделаиды были для меня самыми запоминающимися и приятными моментами.

«Твой отец – сущий дьявол», – часто говорила мне бабушка. «Никак с ним не сладишь», – без конца повторяли

моей матери её сестры. Предельно раздражённым папа бывал во время еды. Он настаивал, чтобы ему сообщали ингредиенты и способ приготовления каждого блюда, а когда у него было время, он стоял на кухне и руководил процессом приготовления еды. Если блюдо получалось не совсем таким, каким ему хотелось бы, у него случался приступ гнева, он бросал салфетку и бежал в ванную, чтобы принять какое-то лекарство для пищеварения, и потом «отходил» минимум до следующего дня. От его выходов у всех сидевших за столом часто тоже пропадал аппетит. Он мог сорваться совершенно неожиданно, прямо когда проглатывал кусок еды. Всё это было крайне странно, потому что мама прошла кухонные курсы в колледже Симмонса² в Бостоне и очень хорошо готовила. На протяжении всего моего детства она сама пекла весь хлеб, который мы ели. Остальной хлеб был «синтетическим», и папа к нему даже не прикасался.

Третий этаж нового дома принадлежал мне, поэтому я мог находиться один гораздо дольше, чем раньше. Я мог подняться на третий этаж и закрыть дверь, оставив за ней весь шум и пререкания. Вскоре я начал придумывать новые названия и расписания движения. Во время прогулок я давал имена камням и кустам, правда, уже не клал под них обрезки бумаги, как делал в Гленоре. В таких местах бывали

² Частное учебное заведение, основанное в 1899 г. производителем одежды Джоном Симмонсом. Среди студентов в годы, описываемые автором, было много женщин. В 2018 г. колледж стал университетом. (*Прим. переводчика*).

другие дети, и интуиция подсказывала, что от них надо всё скрывать, так как это – потенциальные враги. Вернувшись домой, я записывал названия в тетрадку: Вертоград, 645-я улица, пересечение Клифтон, Змее-и-паукоград, Шипение, Эль Апепал, Норпат Кэй.

Вскоре я придумал планету с материками и океанами. Материки назывались: Страна папоротникового карканья (*Ferncawland*), Лантон, Мир *заганок* (*Zaganokworld*) и Араплаина. Я нарисовал карты каждого из материков, изобразив на них горы, реки, города и железные дороги. Это занятие было прервано началом обучения в школе. Осенью 1917 г. меня подстригли и отвели к директору Образцовой школы, который заставил меня громко и, как мне показалось, достаточно долго читать. Потом директор определил меня во второй класс, заявив, что хотя я умел быстро писать печатными буквами, не был в состоянии писать прописью и не имел никаких знаний арифметики. Мне очень повезло, что мистер МакЛафлинг не определил меня в какой-нибудь из старших классов, потому что и так я оказался в классе самым младшим, что совершенно не облегчало мне жизнь.

Школа мне не нравилась. Всего за один день я понял, что мир детей – мир безжалостной войны. Впрочем, я подозревал, что так оно и будет, поэтому открытие шоком для меня не стало. Я смирился с тем, что на меня нападали толпой и били, после чего устраивал карательные экспедиции, нападая на одиночек, отбившихся от стаи. Такая тактика обычно

приводила к тому, что жертва начинала ненавидеть меня лютой ненавистью за то, что я заранее готовился к нападению и пытался сделать его максимально болезненным. Навалиться на меня скопом и избить считалось нормальным, а вот то, что я устраивал обидчику засаду, одноклассники находили непростительным.

«Теперь он знает, что такое жизнь, – сказал папа маме, когда однажды я вернулся домой весь в синяках и грязи. – Это и нужно, чтобы вернуть его с небес на землю».

В такие моменты я только смотрел на него. Я твёрдо верил в то, что должен был победить в этой борьбе, иначе буду безнадёжно потерян, поэтому мне казалось, что надо выдерживать и выстоять.

Однажды вечером из своей комнаты я услышал, что внизу играет музыка. Родители купили патефон и слушали Четвертую симфонию Чайковского. Это был первый случай на моей памяти, когда я услышал какую бы то ни было музыку. Сперва мне не разрешали трогать ни патефон, ни пластинки, но спустя несколько месяцев я уже слушал гораздо больше, чем родители. Вскоре я начал покупать пластинки. Первая пластинка называлась *At the Jazz Band Ball* исполнял её *Original Dixieland Jazz Band*. Когда папа её услышал, то тут же стал осуждать мать.

«Почему ты разрешаешь ему покупать эту дрянь?»

«Он и другую музыку слушает», – ответила она.

«Я не хочу, чтобы ты в будущем приносил в дом такую

музыку. Ты слышишь меня, молодой человек?»

Как обычно в таких ситуациях, я показал свои чувства выражением лица, а не словами.

«Конечно», – отрывисто ответил я. А потом купил латиноамериканскую музыку в исполнении военных оркестров.

Папа тоже покупал пластинки. Он приобрёл виниловые, с Бостонским симфоническим оркестром под управлением Карла Мука³ («Дикарь какой-то. Не понимаю, почему ему разрешили быть режиссёром оркестра»). Потом он купил пластинку певицы Амелиты Галли-Курчи⁴, исполнявшую Россини и Беллини. («Простая, как забор», – сказала мама.) У него была пластинка *Venezia e Napoli* в исполнении Иосифа Гофмана⁵ («Такой самодовольный, будто он один на свете». Папа однажды был на концерте Гофмана).

Между мной и моей учительницей мисс Крейн сложились отношения взаимной антипатии. Всё началось с того, что я отказался петь. Никакие угрозы не могли заставить меня открыть рот. В моём ежемесячном отчёте успеваемости неод-

³ Карл Мук (1859–1940) – немецкий дирижёр, крупный интерпретатор немецкой музыки и особенно Вагнера. Музыкальный руководитель Бостонского симфонического оркестра в 1906–1908, 1912–1918 гг.

⁴ Амелита Галли (после замужества известная как Галли-Курчи, 1882–1963) – итальянская оперная певица, с 1916 г. (до ухода со сцены в 1936 г.) постоянно выступавшая в США.

⁵ Три пьесы немецкого композитора Франца Листа под названием «Венеция и Неаполь» (1859) из цикла «Годы странствий» в исполнении польского пианиста, с 1914 г. постоянно проживавшего в США, Йозефа Гофмана (1876–1957).

нократно появлялась фраза «Не участвует в уроках пения», не говоря уже о том, что мне ставили максимально низкую оценку за прилежание. В графах «знания» и «поведение» у меня всегда стояли самые высшие оценки, и, к счастью, моё упорство объяснили не сознательным саботажем, а недостатком прилежания. Чтобы отомстить мисс Крейн, я придумал способ, которым мог бы показать, что я умею всё делать как надо, но при этом её бы разозлил. Я писал всё идеально, только все слова были написаны наоборот. Раз за разом учительница ставила ноль в виде оценки. Наконец, мисс Крейн попросила меня задержаться после урока. «Что всё это значит? – потребовала она дрожащим от гнева голосом. – Что ты этим хочешь сказать?»

«Чем?»

Она потрясла в воздухе листами бумаги.

«Там нет ошибок», – самодовольно заметил я.

«Я вызову в школу твою мать, – сказала она. – В моё время все знали, что делать с такой мелочью пузатой, как ты, уверяю тебя». Она засунула кипу листков в большой жёлтый конверт и заперла его в ящике стола.

Наше с учительницей взаимное отчуждение перешло в «горячую фазу» после моего серьёзного разговора с матерью. Я стал сильнее переживать, что о моём поведении скажет папа. «Не представляю, зачем ты всё это затеял», – жаловалась она. Я тоже не представлял, но чувствовал, что со всех сторон меня подстерегает таинственная угроза.

Потом всё пошло более гладко. Когда мисс Крейн перестала быть моей учительницей, я решил, что могу начать жизнь с чистого листа. Так, по крайней мере, я считал. На самом деле мисс Крейн настраивала против меня всех моих будущих преподавателей.

В день окончания войны⁶ все занятия отменили. Всех учеников отправили домой и приказали вернуться с расчёсками. По возвращении в школу мы стали репетировать песню *Marching Through Georgia*. Когда мы запомнили мелодию, нам сказали обернуть гребни листком туалетной бумаги и петь слог «та». Было много неразберихи, каждый ребёнок старался как можно дольше тянуть слог, а потом мы шли по улице под звуки марша, люди улыбались и махали флагами. Всё это казалось мне полной бессмыслицей, но приятной, потому что никто не обращал внимания на то, пою я или нет.

Мне было семь лет, и вот уже второй мой зуб рос криво. «Твой папа отвезёт тебя завтра в город на приём к доктору Вогу», – сообщила мне мать. Так я начал раз в две недели посещать кабинет ортодонта на углу Пятой авеню и Сорок седьмой улицы. Мне надо было расширить нижнюю и верхнюю челюсти, поэтому к ортоденту я ходил ровно десять лет, и когда сняли последние брекеты, то выяснилось, что эмаль на некоторых зубах оказалась повреждённой, вполне вероятно, в результате лечения.

«В последнее время в ортодонтии произошёл огромный

⁶ Первой мировой. (Прим. переводчика).

прогресс, – заявил мне папа. – Если бы у твоей матери или у меня были кривые зубы, то их бы просто вырвали».

«Тогда всё было как в средние века», – добавила, содрогнувшись, мама.

«Я просто хочу, чтобы ты понимал, как тебе повезло», – предупредил меня папа.

Не буду утверждать, что я чувствовал себя счастливым после того, как к каждому зубу прикрепили широкую металлическую полоску, державшуюся на шурупах, приделанных снаружи и внутри, а также четыре золочёные проволоки, тоже на шурупах. По вторникам и пятницам я приходил к врачу, чтобы он немного подтянул шурупы. Боль после каждого подкручивания продолжалась два или три дня, то есть практически до следующего раза, когда надо было подтянуть шурупы. Получается, что есть, не морщась от боли, я мог всего несколько дней в году. Наличие металла в полости рта заставило меня принять все меры предосторожности, чтобы меня не били по лицу. Если такое происходило, последствия были самыми печальными. Единственной радостью в этой ситуации являлось то, что из-за посещений ортодонта два дня в неделю я не присутствовал на занятиях во второй половине дня. На следующий год, когда мне исполнилось восемь, я начал ездить к врачу самостоятельно. Мне это нравилось, хотя окружающие приходили в ужас от того, что ребёнку в таком возрасте разрешают одному ездить в Нью-Йорк.

«Но разве тебе самой за него не страшно? – спрашивала

маму тётя Улла. — Я бы совсем извелась, пока он домой не вернулся».

«Ну, конечно, иногда я немного нервничаю», — соглашалась мать.

Тётя Улла повернулась ко мне и сказала: «У твоей матери не все дома».

«Да что со мной может произойти? — спросил я. — И вообще, почему со мной должно что-то стрястись?»

Мама совершенно правильно делала, что за меня не особо переживала, потому что со мной никогда ничего не происходило. Когда я сам ездил в город, то видел и узнавал гораздо больше, чем если бы со мной был кто-нибудь из взрослых. Приблизительно раз в месяц я заезжал в библиотеку, чтобы увидеться с мисс Мур. Она всегда находила несколько минут, чтобы со мной поговорить, и часто дарила мне книгу для моей растущей коллекции. Порой я получал от неё издания, которые она заранее подписала у авторов. На пустой странице книги «История доктора Дулиттла» Хью Лофтинг⁷ написал мне целую страницу и нарисовал несколько рисунков. Хендрик Биллем ван Лоон тоже подписал мне книгу «Краткая история открытий»⁸ и нарисовал себя, курящего трубку.

⁷ Серия приключенческих книг для детей о докторе Дулиттле, американского писателя родом из Британии Хью Лофтинга (1886–1947), начала выходить в 1920 г.

⁸ Энциклопедия американского писателя родом из Нидерландов, Виллема ван Луна (1882–1944), автора множества научно-популярных книг для детей (его «История человечества» вышла в 1925 г. на русском языке): «Краткая история

Кроме этого, мисс Мур подписала мне у Карла Сэндберга книгу «Истории из страны Рутабага»⁹.

Зимой, когда я учился в третьем классе, началась эпидемия испанского гриппа. Мы все переболели «испанкой»: папа, мама и я выздоровели, а вот у тётки Аделаиды болезнь была осложнена плевритом и воспалением лёгких, поэтому она умерла. Новость о смерти тётки Аделаиды передала мне мама, причём сделала это так, что я в течение практически семи лет даже не мог упомянуть имя тётки. Мама сказала: «Твоя тётя Аделаида ушла. Ты больше её никогда не увидишь». Я тут же спросил: «Куда ушла? И почему не увижу?» Но мама повернулась и вышла из комнаты. Когда я понял, что тётя умерла, меня захлестнула волна слепой ярости, которой требовался выход, поэтому я винил маму за то, что она принесла недобрые вести, а главное за то, как некрасиво и позорно она эти новости мне передала.

В гости приехала бледная и дрожащая тётя Эмма. Родственники говорили: «Эмма – самая импульсивная в семье». Такую точку зрения объясняли тем, что она рисовала маслом пейзажи и играла на пианино, а любой человек «с артистическими наклонностями» являлся по определению импульсивным. Любой недуг укладывал Эмму в кровать на месяц. Когда ей было лучше, мы часто завтракали в её комнате. Од-

открытий: от древнейших времён до основания колоний на американском континенте» (1917).

⁹ Сборник сказок для детей (1922) американского писателя Карла Сэндберга (1878–1967).

нажды ранним воскресным утром я услышал громкий смех из комнаты, которую мы называли «жёлтой спальней». Я вошёл в комнату и увидел папу в пижаме в кровати с тётей Эммой, которая кричала и визжала, а мама наклонилась над изножьем кровати, держась за бока от того, что много смеялась. Как только я вошёл в комнату, папа вскочил с кровати и воскликнул: «Ну так давайте попробуем эти пирожные из гречневой муки». После этого он вышел из комнаты.

Через несколько минут меня позвала мама.

«Я хочу с тобой поговорить. Ты не должен никому рассказывать о том, что видел папу в кровати с тётей Эммой».

«Я и не собираюсь рассказывать. А почему?»

«Могут подумать что-нибудь ужасное».

«Да какая им разница? Это же не их дело, верно?»

«Правильно. Конечно, это не их дело. Поэтому никому и не рассказывай».

Я написал стишок и сделал для тёти Эммы небольшую книжку. На каждой странице была половина строфы, написанная восковым карандашом определённого цвета. Я даже не знаю, почему этот стишок её так рассмешил:

Бедная тётя Эмма в кровати лежит
К больной голове компресс приложит
Бедная тётя Эмма в кровати лежит
Болеет, болеет – жить не прекратит.

Poor Aunt Emma, sick in bed

*With an ice-cap on her head.
Poor Aunt Emma, sick in bed!
She's very sick, hut she's not dead.*

«Почему ты рассмеялась?» – спросил её я.

«Потому что мне понравилось стихотворение. Ты же любишь свою старую тётю, правда?»

«Конечно», – я смутился и вышел из комнаты.

В детстве мне постоянно говорили о том, что в дом могут проникнуть грабители, и двери и окна дома практически всегда были закрыты. У Ханны и Анны не было ключей, и их впускали внутрь, когда они утром приходили на работу. Странно, что мне разрешили иметь свой собственный ключ от входной двери. Он лежал у меня в ключнице из страусиной кожи. Однажды днём я вернулся из школы и, захлопнув входную дверь, почувствовал, что дома я один. Тишина была полной. Я вошёл на кухню, там было пусто и всё блестело от чистоты. Я медленно переходил из одной комнаты в другую, боясь позвать кого-нибудь из членов семьи по имени. Вошёл в гостиную и сел на диван, с ужасом размышляя о том, что в дом могли проникнуть грабители. Может быть грабители уже где-нибудь прячутся? Я решил внимательно осмотреть все кладовки, заглянуть под кровати и даже убедиться в том, что никого нет за сложенными друг на друга чемоданами. Если я буду просто сидеть, волноваться, но ничего не делать, то не смогу побороть чувство страха. Я тщательно осмотрел

родительскую спальню, пошарил рукой за висящими в шкафу платьями, чтобы убедиться, что там в темноте никого нет. Потом зашёл в гостевую спальню, в которой стояла огромная старая кровать с балдахином на четырёх столбиках. Наклонился, чтобы посмотреть под кровать, и моё сердце чуть не остановилось. Кто-то, свернувшись, лежал под кроватью. Парализованный страхом, я был не в состоянии вскочить и убежать, я просто смотрел.

Неожиданно тот, кто лежал под кроватью, фыркнул и зашевелился. Сначала я увидел голову матери, а потом раскрасневшаяся и смеющаяся мама вылезла из-под кровати.

«Ханна и Анна ушли, и я решила узнать, что будет, если и я исчезну, – сказала она. – Тебе бы это не очень понравилось?»

Мама пыталась шутить, но я не видел в произошедшем ничего весёлого. Крепко сжав кулаки, я поднялся по лестнице, вошёл в свою комнату и захлопнул дверь. Мой страх превратился в гнев, от которого я не мог избавиться в течение нескольких дней.

В целом, отношения с матерью были хорошими, наверное, главным образом потому, что она слушала всё то, что я ей читал, и высказывала своё мнение. Я даже зачитывал ей списки выдуманных названий и графики движения поездов. После того, как мне исполнилось два года, мама каждый вечер в течение получаса читала мне перед сном. Это продолжалось до тех пор, когда мне исполнилось семь, после этого

мы чередовались и читали друг другу. Помню, что я был в восторге от книги «Сказания из лесной чащи» Готорна¹⁰, а рассказы По вызвали смесь отвращения и восхищения. Читать По вслух я не мог, я хотел его слушать. Низкий и приятный голос матери как нельзя лучше подходил для чтения этих рассказов, к тому же она сама как будто менялась, голос начинал звучать зловеще, когда она произносила страшные фразы. Я смотрел на неё и, казалось, не узнавал, что меня ещё больше пугало. В тот период времени я начал говорить во сне, а также спать с открытыми глазами и в бессознательном состоянии проводить длинный ряд бессмысленных действий. Мама с папой стояли у моей кровати, боясь прикоснуться ко мне или заговорить. На следующее утро я не был в состоянии вспомнить, что творил ночью. Однажды я заснул в своей комнате, а через минуту проснулся на кровати в гостевой спальне. Папа склонился надо мной и повторял, тряся указательным пальцем перед моим носом: «Не убегай из своей кровати, молодой человек».

Зимой, когда мне исполнилось восемь лет, было решено, что я начну брать уроки музыки. Надо было купить фортепиано, и так как мама была согласна только на рояль, было необходимо провести перестановку мебели. После продолжительных и горячих обсуждений купили пианино, и меня

¹⁰ Сборник «Сказания из лесной чащи» (1853) американского писателя Натаниэла Готорна (1804–1864), художественное переложение сюжетов античных мифов для детей.

отвели к мисс Чейз. По вторникам я изучал теорию, сольфеджио и тренировал слух, а по пятницам учился играть на музыкальном инструменте.

Учился играть и репетировал я в полном одиночестве, что меня очень устраивало. Мне нравилось то, что по крайней мере до конца занятия меня не будут беспокоить. Никто не осмеливался беспокоить меня, когда я сидел за пианино. Я мог играть произведения, которые разучивал, или просто гаммы. Если я начинал хотя бы в течение минуты импровизировать, в дверном проёме тут же появлялась мама со словами: «Что-то не похоже, что ты это должен разучивать». Поэтому я понял, что сначала надо закончить урок, и только потом можно позволить себе удовольствие эксперимента и импровизации. К счастью, уроки теории, сольфеджио и тренировка слуха были обязательными, поэтому я научился читать и писать ноты, что дало мне возможность записывать свои собственные музыкальные идеи. Если бы эти предметы не были обязательными, я бы сделал всё, чтобы от них увильнуть, так как на этих занятиях присутствовали другие ученики, и мне было бы не только скучно слушать то, как они фальшивят, пытаюсь что-то сыграть, но я бы и сам стеснялся играть в их присутствии.

Точно так же, как я приучил себя сначала заканчивать музыкальный урок, а потом начинать импровизировать на пианино, я всегда сначала делал домашнюю работу и только потом занимался другими делами, которые планировал. Я вы-

пускал ежедневную газету на одной странице в четырёх экземплярах, нарисованную карандашом и мелками, ежедневно делал записи в дневниках нескольких вымышленных персонажей, обновлял книги о своих выдуманных мирах, и с одержимостью рисовал дома (фасады домов, без перспективы), составлял к ним прайс-листы и расписывал информацию о покупателях. Эта последняя «история» имитировала работу гигантской риэлторской фирмы. В моей газете был ежедневный отчёт удивительного морского путешествия корреспондентов: «Сегодня мы высадились на берег мыса Каточе. Интересно, куда мы приплывём завтра?» У меня был огромный неподъёмный атлас, состоящий из отдельных, не связанных вместе страниц. Я вытаскивал атлас на пол в середине комнаты, открывал его и полностью уходил в мир географических карт. Периодически приходили новые листы, которые надо было, предварительно раскрутив шурупы на корешке альбома, вставить в положенное место.

Каждый день я делал записи в дневниках. Эти записи были в третьем лице настоящего времени и напоминали газетные заголовки: «Появляется гадюка, которая хочет съесть курицу. Адель её выпроваживает». Многие персонажи в дневниках страдали от всевозможных заболеваний и стремительно теряли вес. Периодически меня настолько захватывало повествование, что я за один присест мог написать несколько страниц. Когда случалось что-то подобное, было сложно вернуться к размеренному повествованию, после-

довательно освещающему события день за днём. Действие стремительно развивалось, и вскоре все страницы дневника оказались заполненными. У меня было две тетради дневников женщины по имени Блуи Лэйбер Дозлен, которая отправляется в морское путешествие из какой-то безымянной европейской страны в *Вен Крой*, где находит много денег и незамедлительно покупает себе автомобиль с автопилотом. Во время первого года повествования о её жизни героиня часто болела и выздоравливала, несколько раз выходила замуж и разводилась, а также становилась шпионкой. В описании второго года её путешествий героиня научилась играть в бридж и курить опиум. Все вокруг заболевают плевритом и умирают, но у Блуи было богатырское здоровье, и дневник заканчивается на том, что она прячется в Гонконге от мстительной горничной, которую ранее неосмотрительно уволила.

Ещё я рисовал помесячные календари на год с рисунками, выполненными восковыми мелками (и если получалось, то и продавал их навещавшим нас родственникам). Эти календари были во всех смыслах безукоризненными, но вертикальные и горизонтальные линии, создающие квадраты дней, были не прямыми, а изогнутыми. Естественно, все указывали мне на этот недостаток. Я объяснял, что всегда, когда пытаюсь нарисовать прямую линию, она получается кривой. Папин-папа предложил мне пользоваться линейкой. Я не считал, что это предложение поможет решить проблему, мне ка-

залось, что использование линейки – это как если бы я попросил бы кого-то другого мне помочь. Кроме этого, я много упражнялся в умении сделать кривые линии параллельными, и мне нравился результат. Так что все мои календари и впредь продолжали выглядеть как параллели и меридианы на глобусе.

В тот период я начал писать пространный опус под названием «Ле Карре, опера в девяти частях». Понятное дело, что это была не собственно опера, а история с вставками в виде стихов. Для этих стихов я написал музыку и был в полной уверенности, что наличие положенных на музыку стихов даёт мне право называть своё произведение оперой. Сюжет оперы был следующим: двое мужчин решают поменяться жёнами. Для этого каждому из них необходимо настолько пасть в глазах своей жены, что та должна будет потребовать развода. Когда, наконец, обмен жёнами происходит, женщин эта ситуация не устраивает, и они делают всё возможное, чтобы вернуться к своему первому мужу. Во второй части была ария для сопрано с текстом:

Лала

Даба

Медовый месяц!

Скажи, когда...

Но дальше у неё нейдёт

Ведь бывший муж её, он зарится,

Как будто кошка, если не покормят.

*Oh, lala
Oh daba
Oh honeymoon!
Say, oh say when...
But she got no further
For there was her ex-husband
Glaring at her like a starving pussycat.*

Я неоднократно читал «Ле Карре» всем, кто приходил к нам в гости, и к своему немалому сожалению заметил, что любое воодушевление по поводу произведения было обязано тому, что люди находили его ужасно смешным. Когда я это окончательно понял, то убрал тетрадь с текстом, а всем, кто хотел услышать произведение, говорил, что её потерял.

Однажды поздно ночью из гостиной послышался шум, как будто что-то взорвалось или лопнуло. Утром мы увидели, что дека инструмента изогнулась и треснула. Папа пришёл в негодование по поводу работы универмага *Wanamaker* и заявил, что нет смысла покупать любые пианино, изготовленные после войны, так как их изготавливали из невыдержанного и невысушенного дерева. Так совершенно неожиданно закончились мои уроки музыки. Я не особо переживал, а вот мама несколько месяцев была очень недовольна.

Для расслабления и развлечения папа всегда играл в теннис. В белом фланелевом костюме он выглядел великолепно. Маме не нравилось играть в теннис, но чаще всего она

соглашалась составить ему пару, хотя прекрасно понимала, что проиграет. «Я же близорукая! – протестовала она. – Даже если бы моя жизнь зависела от того, увижу я мяч или нет, я бы всё равно его не заметила!»

«Близорукая, ха! Да ты слепая как крот!»

У папы было стопроцентное зрение, но однажды утром он проснулся и понял, что ослеп на левый глаз. Глазной врач сказал, что у него произошло внутреннее кровоизлияние. Несмотря на то, что врач утверждал, что никакое лечение папе не поможет, он отправил его на целый ряд анализов. Однажды за завтраком папа с мамой эти анализы обсуждали. Я изо всех сил старался выглядеть так, как будто чем-то ужасно занят, хотя внимательно слушал их разговор, боясь упустить хотя бы слово. Вскоре любопытство заставило меня задать матери вопрос: «А почему в папу втыкают иголки?»

«Надо взять анализ крови...», – начала было мама, но папа сделал глоток кофе, бахнул кружкой по столу и закричал: «Нет!» Мать непонимающе на него посмотрела, и он начал нести чепуху распевным фальцетом: «Дело в том, что когда-то мой отец...»

«Ах, ну понятно», – сказала она.

Я почувствовал, что он оскорбил меня таким отношением. Единственным объяснением такому низкому поведению было бы то, что папа представлял *самого себя* в восьмилетнем возрасте на моём месте. После этого случая моё мнение об отце сильно ухудшилось.

Доктора решили, что папа слишком много работает, прописали ему меньше времени посвящать работе и три раза в неделю играть в гольф. Папа тяжело переносил то, что стал полуслепым, он начал часто мрачно задумываться о состоянии своего здоровья, и ещё пуще, чем ранее, стал ипохондриком. Гольф-клуб *Hill crest* находился от нашего дома в шаговой доступности, и мы втроём начали в него ходить. Обычно мы с мамой ждали его в тени около пятой лунки. Иногда, когда папа играл один, он настаивал на том, чтобы я шёл с ним, для того чтобы искать улетевшие шарики. В один прекрасный день он решил, что я должен пойти с ним в качестве *кедди*. Верх торчащих из сумки клюшек доходил мне до плеча, я ведь был слишком мал, чтобы их таскать. Тем не менее я вышел на поле, но то, что сумка иногда задевала о землю, начало папу раздражать, и он закончил игру у девятой лунки.

«Фиговый из тебя кедди получается, вот что я думаю», — с отвращением сказал он мне в раздевалке.

После того, как папа с мамой стали членами гольф-клуба, у них появилось много новых друзей, с которыми они начали играть по вечерам в карты. В то время родители считали, что я могу оставаться дома один и не просили Ханну присматривать за мной. Иногда карточные игры проходили у нас дома, и в те дни шум и крики продолжались до двух или трёх ночи. Это был период сразу после введения сухого закона, и люди намеренно выпивали крепко. Пьянство тогда считалось элегантной формой бравადы.

Нас периодически навещал папин-папа. У него была приятная, но непонятная мне и ставящая в тупик привычка: он заходил до ужина в столовую и клал под мою салфетку деньги. Я не мог понять, почему он не хочет передать мне деньги лично, при встрече с глазу на глаз, чтобы мама с папой об этом не знали. Я предполагал, что дедушка любит меня больше, чем моих родителей, так как он постоянно говорил, что они живут и поступают неправильно. Всякий раз взяв в руки лежащий в гостинной номер *Vanity Fair*, он фыркал, шумно шелестел страницами, после чего с силой бросал журнал на стол и замечал, что плохо оставлять его там, где я могу его прочитать. Я сам вынимал журнал из конверта, который почтальон приносил каждый месяц, поэтому не просто уже видел издание, но и мог прочитать всё, что меня в нём заинтересовало. Пока папин-папа у нас гостил, мама часто напоминала мне, что дедушка принадлежит другому поколению, поэтому не может осуждать то, что происходит у нас дома. Папин-папа никогда не пил, и после того, как в стране был введён сухой закон, неизменно выражал своё несогласие с теми, кто этот закон не соблюдал. И он далеко не всегда молчал, когда папа во время ужина разливал напитки.

«Это большая ошибка», – недовольно ворчал дедушка.

«Отец, давай подойдём к этому вопросу рационально, – возражал папа. – Нереально обеспечить выполнение этого закона. Разве ты не согласен?»

«Всё это только потому, что такие люди, как ты, не соблю-

дают закон. А закон обязаны соблюдать все граждане страны. Этого аргумента было бы вполне достаточно».

Почти каждую зиму у нас гостила бабушка. В памяти осталось, как мы с ней гуляем, шагая по снегу. На ногах у бабушки были, как она их называла, *«арктики»*. Во время этих долгих и промозглых прогулок меня поразило, сколько неприязни она испытывала к моему папе. Мне оставалось только слушать и время от времени прерывать её вопросом «А почему?», как на меня обрушивались потоки бабушкиной брани, включая подробности, в которые мне, особенно в таком раннем возрасте, было сложно поверить до тех пор, пока их не подтвердила или не объяснила мать.

«Твоя мать его боится и поэтому всегда принимает его сторону. Но я-то знаю, что у него на уме. Твой отец хотел тебя убить».

Я был поражён этим сообщением и переспросил: «Меня убить?» Однако такой поворот событий мог оказаться даже очень правдоподобным. Очень сложно понять, что человек на самом деле планирует. Дети были коварными обманщиками, а ум и замыслы взрослых совершенно загадочными.

«Да, когда тебе было шесть недель. Однажды вечером он вернулся домой, тогда шёл сильный снегопад, выл ветер, настоящая метель, вошёл в твою спальню, широко открыл окно, вынул тебя из кровати, из-под тёплого одеяла, раздел тебя и отнёс к окну, из которого в комнату летел снег. И этот чёрт оставил тебя в плетёной корзине на подоконнике! Если

бы я не слышала, что ты плачешь, ты бы умер в течение часа. „Я знаю, чего ты хочешь добиться, – сказала я ему тогда. – У тебя ничего не получится. Ты не сможешь причинить зла ребёнку, только через мой труп“».

Меня заинтриговало это полное драматизма столкновение.

«И что он ответил?» – спросил я.

«Он просто ревновал из-за того, что мать уделяла тебе много внимания. Он считал, что она должна нянчить *его*, а не сына. Просто был недоволен тем, что о нём мало думают. Он тогда решил: „Если ребёнок умрёт от холода, то она снова будет принадлежать только мне“. Я знаю, что у него на уме. Он настоящий дьявол! Как старый кот, который сжирает своих собственных котят. Он своего добился и полностью закобалил твою бедную мать».

Бабушка любила рассказывать о том, как сразу после моего рождения она пошла к ясновидящей, чтобы узнать, как сложится моя жизнь. Женщина сказала, что видит лишь массу разбросанных бумаг и ничего больше. «Вот тут она точно не ошиблась, – сказала бабушка. – Ни у кого никогда не видела больше бумаги, чем у тебя. Я понимаю, почему твоя мать нервничает. У тебя накопилось столько бумаги, что с ума сойти можно. Может, ты часть выкинешь? Хотя бы старые?»

Эти происки я должен был немедленно пресечь.

«Нет! Мне надо всё оставить. Ничего не хочу выбрасы-

вать».

«Пожалей несчастную мать!»

«Да она их вообще не видит. Все мои бумаги лежат в кладовке. Мне нравится их перебирать и просматривать».

«Но это же просто твои почеркушки. Зачем тебе на них смотреть?»

Я понял, что бабушка не ценит мои литературные достижения, и решил, что спорить бесполезно.

В январе 1921 г. папа заболел воспалением лёгких. Наш дом превратился в больницу: приходили и уходили медсестры, и доктор Браш заглядывал несколько раз в день. Чтобы я не путался под ногами, мать решила отправить меня в Спрингфилд к Винневиссерам. Без сопровождения взрослых я добрался до Центрального вокзала в Нью-Йорке после чего, сам не веря своему счастью, сел на поезд на Нью-Хейвен и Хардфорд. Будоражила мысль о том, что меня ждёт неизвестной продолжительности период полной свободы. Я пришёл к выводу, что жизнь в принципе может быть приятной, и меня наполняло чувство крайнего благоговения ко всему непредсказуемому.

Не успел я пробыть в Спрингфилде и две недели, как дедушка и бабушка тоже заболели воспалением лёгких. Чтобы им помочь, из Нортгемптона приехала тётя Эмма, и меня снова отправили подальше от больных. Я перебрался в Нортгемптон и остановился у дяди Ги. У тёти Эммы и дяди Ги были отдельные квартиры, расположенные в одном доме.

Дядя Ги был человеком интересным: он носил японские кимоно и постоянно жёг благовония перед бронзовыми статуями Будд и драконов. Мне очень понравилась его квартира, которую я представлял себе местом действия детективного романа, где было убийство. Такое впечатление усиливалось тем, что рядом с моей кроватью лежало несколько романов Сакса Ромера¹¹. По вечерам я погружался в мир доктора Фу Манчу.

К тому времени я всего три раза был в кино. Каждый день дядя Ги ходил со мной, воплощённой невинностью, в похожее на амбар здание под названием Академия музыки, в котором ежедневно показывали две разных картины. Я увидел фильмы с участием Мэри Майлз Минтер, Чарли Чаплина, Виолы Дана и Уильяма Харта, прекрасно осознавая, что мама с папой не одобряют такое времяпровождение, если о нём узнают. Дядя Ги обещал, что никогда им об этом не расскажет. Он очень хорошо ко мне относился, всем своим поведением давая понять, что он «на моей стороне», и никогда не пытался контролировать мои занятия. Никогда ранее я не испытывал такой свободы, и поэтому совершенно естественно начал считать дядю Ги своим другом. Но потом он сообщил мне, что вот уже несколько дней планирует вечеринку в квартире тёти Эммы. В следующую субботу он сказал, что я

¹¹ Сакс Ромер (Артур Уорд, 1883–1959) – английский писатель, более всего известный циклом детективных романов о злом гении Фу Манчу, вышедшим с 1911 г. до смерти автора и продолженном его биографом Каем Ван Эшем (1918–1994).

должен поужинать раньше обычного и идти спать. Это была не самая приятная информация. Субботним вечером я надел халат и пошёл по коридору в другую квартиру. Ещё не дойдя до двери, я услышал танцевальную музыку, которую играли на пианино, звуки голосов и смех. Открыв дверь, я увидел, что внутри танцует большая компания молодых и красивых мужчин. Спустя секунду сильная рука схватила меня за плечо, развернула и выпроводила из квартиры. Я увидел искажённое гневом лицо дяди Ги. Взяв меня за шкуру и не отпуская, он довёл меня до двери моей квартиры. «Я просил тебя не приходить, но ты не послушался. Теперь придётся тебя запереть», – процедил он сквозь зубы.

Вернувшись в свою комнату, я в расстроенных чувствах сел на кровать. Оказалось, что дядя Ги мало отличается от всех остальных. Над моей головой на стене висела большая фотография в рамке с изображением симпатичной девушки с очаровательной улыбкой. Я встал на кровать и кулаком разбил стекло рамки, порезав себе костяшки пальцев. Это была моя месть дяди Ги. Потом я лёг спать с ноющей и окровавленной рукой. На следующее утро я набрался смелости и сказал дяде, что разбил стекло на фотографии, но тот не рассердился, а только улыбнулся, что меня немного расстроило. Я сказал, что заплачу за стекло, сколько бы оно ни стоило, и дядя согласился. Больше ни он, ни я не упоминали о произошедшем и о комнате, где собралось много молодёжи. Последнее не казалось мне чем-то подозрительным и из ряда

вон выходящим, пока десять лет спустя я не припомнил эту деталь. На момент написания этих строк я никогда никому об этом эпизоде не рассказывал.

У дяди Ги был таинственный друг – полный мужчина по имени мистер Бистани, которого дядя часто навещал. Этот человек жёг ещё больше благовоний, чем дядя Ги, от дыма в его квартире было почти невозможно дышать. Пол, стены и мебель украшали мягкие турецкие ковры, которые мистер Бистани постоянно менял. Он был сирийцем и владел магазином восточных товаров. Каждый раз, когда мы были у него в гостях, мистер Бистани пытался всучить мне подарок, но так как дядя Ги громогласно выступал против того, чтобы я этот подарок брал, я оказывался в дурацком положении. Дядя вырывал подарок из моих рук, а мистер Бистани снова мне его передавал. К концу моего пребывания в Нортгемптоне мы перестали навещать мистера Бистани.

Мать написала мне письмо, требуя в течение двух недель вернуться в Нью-Йорк, а я в ответном письме умолял её разрешить побыть в гостях немного дольше. Как и можно было догадаться, мне не разрешили, и в назначенный день посадили на поезд. Домой я возвращался в расстроенных чувствах.

Вскоре после возвращения к маме пришла мисс Нол и предложила перевести меня в класс мисс Миллер, то есть предлагала перепрыгнуть один год и перевести меня из пятого класса в шестой. Предложение о таком переводе считалось знаком одобрения учителями успехов ученика, но означало,

что счастливчик может оказаться изгоем в новом классе.

В конце четверти во время обучения в шестом классе мисс Миллер предложила моим одноклассникам встать и поаплодировать моим успехам. Несмотря на то, что меня незадолго до этого перевели из другого класса, я получил самые высокие оценки среди учеников. Это был совершенно кошмарный для меня момент, когда я задумался над тем, понимает ли мисс Миллер, что на самом деле привлекает внимание одноклассников к моим недостаткам (дело в том, что те качества, которые взрослые считают в ребёнке положительными, все остальные дети воспринимают как результат подхалимства). Мои одноклассники зададут себе вопрос: «А почему это он перепрыгнул через год обучения?» И нелогичным, но сильно звучащим для них ответом, который в определённой степени является правильным, будет следующий: «Потому что он считает себя умным».

«Расскажи мне о том, как я родился».

«Да ты уже эту историю уже тысячу раз слышал», – обычно отвечала мать.

Всё это действительно так и было, но мне почему-то казалось, что я могу извлечь из этого знаменательного события больше, чем уже извлёк. Я надеялся на то, что, узнав больше подробностей, я смогу понять всю картину.

Роды проходили в больнице Непорочной Богородицы (в течение многих лет у меня было впечатление, что слово «непорочный» каким-то образом сочетается со словом

«больница» и является дешёвым трюком, как слово «безболезненный», которое часто использовали плохие зубные врачи в своей рекламе и на вывесках своих кабинетов). «Это была самая удобная и лучше всех оснащённая больница, — объясняла мать. — Но если бы я знала, как всё произойдёт, я бы ни за что туда не поехала».

Захватывающее начало рассказа, потому что я знал, что произойдёт дальше. Роды прошли при помощи акушерских щипцов, потому что моя голова отказывалась появляться. «Когда я проснулась после эфира, то увидела, что у тебя большой порез на голове». Но самое интересное было впереди. В тот же день к вечеру в палату вошли две монахини и заявили, что меня нужно крестить. Мать отказалась, но монахини пытались силой отнять меня у матери, твердя, что я могу и не пережить эту ночь. Мама сказала, что это их не должно касаться, и она сама несёт ответственность за мою душу. Но монахини продолжали тянуть меня к себе. «Если вы унесёте ребёнка из комнаты, я на карачках поползу за вами и буду громко кричать», — сказала мама, после чего монахини ушли.

После того, как история была рассказана до конца, у меня всегда возникало чувство того, что мама добилась важной моральной победы и защитила меня от мистической и непристойной манипуляции. Она опускала плечи и по всему её телу пробегала дрожь. «Ах! Подлые твари со своими старыми крестами! У меня от них мурашки. Ясное дело, неко-

торые – очень достойные женщины. Но их чёрные рясы!»

«Нет ничего интересней игр с собственным разумом, – сказала однажды мать. – Ты думаешь, что управляешь своим умом, а потом понимаешь, что если потерять бдительность, то разум начинает управлять тобой. Например, уверена, что ты не сможешь сказать, какие именно движения ты делаешь, чтобы снять пальто. Какое движение ты делаешь в первую очередь? Я долго об этом думала и всё равно не могу точно сказать. Или вот ещё одно. Ты никогда не пробовал полностью очистить свой разум и продержаться какое-то время в таком состоянии? Ты не должен ничего представлять, вспоминать или думать. У тебя даже не может быть мысли: „Я не думаю“. Надо сделать так, чтобы ум был полностью чист, без мыслей. В таком состоянии можно пробыть секунду, а потом в голове что-то появляется, и ты выходишь из этого состояния. Иногда у меня получается, когда я отдыхаю после обеда, и должна сказать, что могу довольно долго продержаться в этом состоянии. *Я ухожу в абсолютную пустоту и закрываю за собой дверь*».

Я внимательно её слушал и мотал на ус. Я ничего не говорил, но втайне от всех начал это практиковать и, в конце концов, смог оказаться в полной пустоте, хотя тут мне помогала задержка дыхания, что автоматически ограничивало время пребывания в этом состоянии. Мне кажется, что я – человек собранный и дисциплинированный, и изначальный толчок к появлению этих качеств произошёл именно в то время.

Ранние утра весной и летом запомнились полными особог-
о очарования. Я не мог выйти на улицу, одеться и спустить-
ся вниз, пока меня не позовут, но мог подойти к окну, вдох-
нуть ароматы и услышать пение птиц. Это тоже было нельзя,
но меня никогда не заставляли за этим занятием. Проблемы
для меня создало другое – привычка ранним утром, лёжа в
кровати, рисовать дома, чтобы пополнить ими свою коллек-
цию «художественной недвижимости». Однажды прохлад-
ным июльским утром я проснулся, подошёл к двери, запер её
и снова лёг в постель. Потом услышал, как папа поднимается
вверх по лестнице. До того, как я успел отпереть дверь, он
начал в неё колотить. Я встал и повернул ключ. Глаза отца
стали узкими от гнева.

«Ты это зачем запер дверь, молодой человек? Ты чем тут
занимался?»

«Ничем».

«Отвечай на вопрос. Почему ты запер дверь?»

«Потому что я занимался тем, что я не хотел, чтобы ты
увидел».

«А, вот как! Так чем же ты занимался?»

«Рисовал дома».

«И ты запер дверь?»

У меня было ощущение, что он мне не верит.

«Я подумал, тебе может не понравиться, что я рисую дома
до завтрака».

«Понятно. И за это я всыплю тебе так, что ты долго не

забудешь».

Он схватил меня, перекинул через свои колени лицом на кровать и начал лупить по попе в пижамных штанах. Я лежал и ждал, когда наказание закончится. Постепенно скорость и сила ударов ослабла и он спросил: «Что, достаточно?» Я не ответил, поэтому он ещё некоторое время продолжал меня бить, после чего снова спросил: «Хватит?»

Я не мог заставить себя сказать «Да».

Я молчал.

«Отвечай!» – потребовал папа.

Я повернул голову и с трудом заставил себя произнести: «Как скажешь». После этого отец принялся лупить меня с удвоенной силой.

Потом он устал, остановился, и я перевернулся на кровати на спину.

«А теперь давай сюда твои тетради. Живо!»

Я вынул тетради и положил их на кровать. Он взял их и спустился вниз по лестнице. Позже в тот же день мама сказала, что у меня на два месяца отберут тетради. Это был самый короткий срок наказания, которого ей удалось для меня добиться. Я предполагал, что уже никогда не увижу своих тетрадей, поэтому услышал приговор с чувством облегчения. Кроме этого я почувствовал, что стал сильнее, так как понял, что не расплачусь даже во время самого жестокого наказания. До того дня такого понимания у меня не было. Много десятилетий спустя просматривая дневники матери,

я нашёл запись, сделанную ею в тот день: «Клод побил Пола. Ужасный день. Сильно болела голова».

Это был единственный раз, когда отец поднял на меня руку. С того дня в наших с ним отношениях начался новый период противостояния. Я поклялся посвятить всю свою жизнь мщению, даже если должен буду сам погибнуть. Бесспорно, это очень по-детски, но так я был настроен по отношению к отцу много лет подряд.

Глава III



Фотография в начале главы – моя бабушка на ферме Счастливой ложбины, 1916 г. (П. Боулз)

Когда я учился в седьмом классе, папа решил купить свой собственный дом. Этот дом был построен по проекту архитектора, с которым мы делили наше прежнее жилище, но располагался в нашем районе, отчего переезд оказался не очень хлопотным. Комнат в этом доме было больше, поэтому пришлось покупать новую мебель и ковры. Периодически к дому подъезжали грузовики с товарами из магазинов *Lord and Taylor*, *Altman* и *Wanamaker*. Мать сказала, что родственники из Вермонта и Нью-Гэмпшира прислали нам старинные вещи, включая много серебряных монет «времён революции».

Мест для новых открытий становилось всё меньше. Лес исчезал практически на глазах, и вокруг с пугающей скоростью появлялись новые дома. Это меня сильно расстраивало, но потом я решил, что «слишком много повидал в жизни», чтобы думать о подобных вещах, и с ещё большим рвением взялся за «работу». В тот год я написал целую серию длинных историй-мелодрам с названиями вроде «Это всего лишь пустыни» и «Крик в тумане». Одну из этих историй я отнёс в школу и оставил на столе миссис Вудсон. Судя по всему, рассказ ей понравился, потому что она спросила, написал ли я что-нибудь ещё. Когда я ответил, что написал, она предложила, чтобы я частями зачитывал рассказы перед классом во время учебного дня. Когда спустя две или три недели выяснилось, что запасы моего литературного материала не ис-

сякают (когда я прочитал всё, что у меня было, каждый вечер лихорадочно писал новые рассказы), учительница сказала, что чтения будут проходить сразу после окончания занятий в три часа дня, и посещение не является обязательным. Меня должно было бы удивить (хотя тогда я об этом совершенно не задумался) то, что за исключением двух или трёх раз на чтениях класс присутствовал в полном составе.

Литературные чтения могли бы продолжаться бесконечно, если бы я не вызвал гнев миссис Вудсон тем, что, как ей сообщили, позволил себе грубое высказывание в адрес одной из одноклассниц. В тот день вместо чтений устроили длинный допрос. В начале присутствовали все ученики, потом девочек отпустили и остались одни мальчики, а под конец только я с учительницей, сцепившиеся в совершенно бессмысленном поединке. Я понимал, что она возмущалась моим поведением скорее для вида. Просто пыталась дознаться, сколько мне известно о половой жизни и откуда я это почерпнул (скорее всего, о сексе я знал меньше любого одноклассника, так как в то время ещё жил в иллюзии, что анатомически мужчины и женщины не отличаются – что это не так, я узнал только на уроках биологии в старших классах). Я очень убедительно делал вид, что знаю гораздо больше, чем знал на самом деле, поэтому бедная педагогиня не могла уgomониться. Время было уже после пяти, а она никак не унималась.

«Я никак не могу понять, почему ты пристал к самой кра-

сивой, опрятной и умной девочке во всём классе? Ты можешь мне это объяснить?»

Что тут было думать: именно потому, что она такой и являлась. Но я не мог этого сказать, даже если бы и смог это сформулировать, и покачал головой. Я не знал, почему.

«Как ты думаешь, что скажет твоя мама, если обо всём этом узнает?»

«Ей бы это не очень понравилось, – признался я. – Но не думаю, что она была бы так сильно недовольна, как вы».

Я высказал это предположение, вспомнив реакцию матери, когда сказал ей, что миссис Вудсон считает членов унитарной церкви и не христианами и не иудеями, а *чем-то средним*. («Не забывай, что она – невежественная и ограниченная женщина», – сказала тогда мать.)

«Я не понимаю, из-за чего вы так расстроились, – сказал я миссис Вудсон. – А что вы ожидали?»

Она побелела от злости, встала и после короткой паузы сказала: «Я ожидала чего-то лучшего. Ты можешь идти».

Когда я вернулся домой, было уже темно. Матери не было, но тогда у нас гостила бабушка, которая волновалась, что я опоздал. Я рассказал ей, что со мной произошло.

«Так что же ты сказал по поводу той девочки?» – поинтересовалась бабушка.

«Я сказал, что у неё между ног усы растут».

Бабушка разинула рот.

«Пол, ну ты даёшь!»

«А что? Неужели это настолько ужасно?»

«Ну, это точно не очень хорошо, разве ты не согласен?»

«Но и не так уж плохо».

После этого мы к этой теме больше не возвращались. Но литературные чтения прекратились. Приблизительно тогда же мать начала всё чаще бывать вне дома. Она вступила в ряд клубов, в том числе в Дельфийское общество, и подписалась на издание Театральной гильдии. Я слышал об Эсхиле и «Братьях Карамазовых». В то время у нас работали экономка из Вермонта и чернокожая девушка по имени Ида, поэтому меня кормили вне зависимости от того, была мать дома или нет.

В соседнем доме к западу от нашего жил доктор Линвилл, который был президентом Союза американских учителей и открытым социалистом. У него умерла жена, и за его четырьмя детьми присматривала домработница-полька, у которой было два собственных маленьких ребёнка. «Не хотела бы я оказаться на её месте! Вообще удивительно, как она с ума не сошла, – сказала мать. – Думаю, что дети уже стали совершенно неуправляемыми. Их никто ничему не учил. Они ни на что не реагируют. Им всё по барабану».

«*В натуре, свиньи!*» – поправил её папа, желая сказать что-нибудь смешное.

Мать кивнула с серьёзным выражением на лице. «Типичные скандинавы. Тугодумы».

Со старшим из этих ребят у меня уже были плохие отно-

шения, потому что в начале года я случайно попал ему в голову камешком во время потасовки. Он был уверен, что я это сделал нарочно, и от этого у нас были постоянные стычки. Масла в огонь подливала его старшая сестра, с возмущением сказавшая мне, что у её брата по сей день есть шрам, оставленный брошенным мной камнем. Я это прекрасно знал, и каждый раз, когда видел его, мне становилось не по себе, потому что я вспоминал, сколько было крови, когда я поранил ему голову. Чтобы избавиться от чувства вины, я старался вести себя с парнем дружелюбно, но тем не менее любой контакт с ним заканчивался дракой. В поведении этого мальчика было что-то нелогичное и детское, что меня одновременно злило и возбуждало, поэтому я придумал ему испытание, и мне не терпелось узнать, как он его пройдёт.

Я получил у родителей разрешение раз в неделю использовать третий этаж дома в качестве места сбора членов клуба. Сразу после этого я достал свой миниатюрный печатный пресс и изготовил бланки с шапкой с надписью «Клуб Хрустальная Собака». На бланках я написал восемь или десять объявлений о встрече в следующую пятницу и дал их паре живших на нашей улице братьев с предложением передать их ребятам нашего возраста с сообщением о том, что гарантированно будет много мороженого. Оба брата пришли ко мне чуть раньше назначенного времени для встречи «членов клуба», чтобы помочь навести желаемый антураж месту действия. Мы договорились, что на правах хозяев потребуем,

чтобы присутствующие прошли обряд инициации для вступления в наш клуб.

В пятницу вечером всё шло по задуманному плану. Как я и предполагал, мальчик из семьи Линвиллей без энтузиазма отнёсся к моему предложению, чтобы ему первому завязали глаза. Все сочли его отговорки плодом трусости и эгоизма, никто ему не сочувствовал. Мальчик пытался отказаться, но все настояли на том, чтобы именно он первым прошёл инициацию. После этого самым главным для меня было просто молчать. Когда ему на глаза надели повязку, он уже начал хныкать. Всё было просто идеально.

Третий этаж не был достроен до конца, например, не было перил на лестнице. У меня был следующий план: убедить мальчика, что он висит под окном, хотя на самом деле висеть предстояло в лестничном проёме, втемашить ему кое-что в голову, после чего дать ему упасть. Братья обвязали его во-круг пояса верёвкой, а я открыл окно. Парень запаниковал, когда услышал звуки с улицы, и ему завязали руки за спиной. Убедившись, что он уже достаточно запуган, мы подняли его на ноги. Он был тяжелее каждого из нас, но мы его развернули и довели до лестничного проёма. В тот вечер двумя этажами ниже у родителей были гости, которые шумели гораздо громче, чем мы. Они могли часами сидеть на полу кружком, играя в кости на деньги. Как только мы столкнули его с края, верёвка стала стремительно вырываться в наших сжатых кулаках и стала настолько горячей, что нам пришлось

её отпустить. На протяжении секунды стояла тишина, а потом он поднял такой крик и вой, что прибежали родители. Они осмотрели парня и убедились, что никаких серьёзных повреждений, кроме ссадин и синяков, на его теле не было. Несмотря на это, парень продолжал орать благим матом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.